

Василий Васильевич Розанов

О происхождении

некоторых типов

Достоевского (литература...



Василий Розанов

**О происхождении некоторых
типов Достоевского (литература
в переплетениях с жизнью)**

Розанов В. В.

О происхождении некоторых типов Достоевского (литература в переплетениях с жизнью) / В. В. Розанов —

Содержание

I	5
Конец ознакомительного фрагмента.	9

Василий Васильевич Розанов

О происхождении некоторых типов Достоевского (литература в переплетениях с жизнью)

I

Творчество Достоевского, даже в самых фантастических его точках, не так уже фантастично, как это представляется читателю, не знакомому с его личностью и с обстоятельствами его творчества. Я помню, в первый же раз, когда познакомился с его вдовой Анною Григорьевною, то спросил ее об этом, уверенный в отрицательном ответе. К удивлению, она дала ответ положительный.

– О нет! Федор Михайлович ужасно любил вставлять в свои романы кусочки действительности, какие нам с ним встречались на жизненном пути... Любил это и весело, по-домашнему, смеялся со мною таким своим вставкам. Это простиралось на мелочи. Вы помните в «Братьях Карамазовых» Черемашню и село Мокрое.

Еще бы я не «помнил».

Анна Григорьевна весело рассмеялась и точно ушла в воспоминания.

– Так это же станции по дороге из Петербурга в Старую Руссу, куда мы, бывало, ездили каждое лето на дачу, в свой дом.

Я не догадался спросить: «А Лягавый, – тот жулик-кулак, который спит в Мокром пьяный на лавке и, проснувшись, только ругается и хохочет, и больше никакого толку от него ни герои романа, ни читатель романа не видят?» Но и Лягавого, до такой степени конкретного, что его нарочно «не выдумаешь», верно, видел где-нибудь Федор Михайлович, хотя, может быть, и не в Мокром. Такие лица, как доктор Герценштубе (тоже в «Братьях Карамазовых»), не выдумываются. Это слишком частно, особенно и странно: и тут сперва должна сотворить матушка-природа, а потом уже человеку дано срисовать ее и украсить срисованным свое человеческое произведение. Но замечание Анны Григорьевны о том, что Достоевский вообще любил это делать, любил этот прием работы, побуждает расширить границы того исторического и реального, которое, по общему признанию, захватили его романы. До сих пор общее сознание утвердило историческую портретность только за следующими его лицами: Петруша Верховенский в «Бесах», это Нечаев. Кармазинов там же, это – Тургенев (кариатура-портрет). Степан Трофимович со своей статьей «Об аравитянах» – Грановский. Нужно заметить, что с историческим Грановским Степан Трофимович имеет так мало общего, так мало единого, что мы не решились бы на свое указание, если бы не слова Тургенева: «Ну, пусть он изобразил в смешном виде меня (Кармазинов), но зачем он затронул Грановского?» «Затрогивания» было очень мало: он перенес мысленно благородного, мягкого, уступчивого, пассивного идеалиста 40-х годов в сильную и мутную волну, 60-х годов. Но все подробности смешной и чуть-чуть нечистоплотной биографии Степана Трофимовича, разумеется, не имеют ничего общего с настоящей биографией Грановского.

Достоевский имел одну, так сказать, мимолетно-общую черту с Гоголем, – демоническую: его, как и Гоголя, смех разбирал «до пупика» при мысли, при образе, при самом имени какого-нибудь «установление идеального» лица, авторитета, идеала. Помните, у Гоголя эту дьявольскую мефистофелевскую гримасу:

"Перед ним сидел Шиллер, не тот Шиллер, который написал «Вильгельма Телля» и «Историю тридцатилетней войны», но известный Шиллер, жестяных дел мастер в Мещанской улице. Возле Шиллера стоял Гофман, не писатель Гофман, но довольно хороший сапожник с Офицерской улицы, большой приятель Шиллера. Шиллер был пьян и сидел на стуле, топая ногою и что-то говоря с жаром. Все это еще бы не удивило Пирогова, но удивило его чрезвычайно странное положение фигур. Шиллер сидел, выставив свой довольно толстый нос и подняв вверх голову, а Гофман держал его за этот нос двумя пальцами и вертел лезвием своего сапожного ножа на самой его поверхности. Шиллер говорил: «Я не хочу, мне не нужен нос! У меня на один нос выходит три фунта табаку в месяц. И я плачу в русский скверный магазин за каждый фунт по 40 коп.; это будет 1 руб. 20 коп., это будет в год 14 р. 40 коп. Слышишь, мой друг Гофман? На один нос 14 р. 40 к.! Да, по праздникам я нюхаю Рапе, потому что я не хочу нюхать по праздникам русский скверный табак. В год я нюхаю два фунта Рапе, по 2 р. фунт. Шесть да четырнадцать – 20 р. 40 к. на один табак! Это разбой! Я спрашиваю тебя, мой друг Гофман, не так ли? Но я швабский немец, у меня есть король в Германии. Я не хочу носа! Режь мне нос! Вот мой нос!»

Это – дьявол смех... Это – Мефистофель, шумящий со студентами в погребке Ауэрбаха: его голос, его тембр, все его, но в натуре, т. е. я хочу сказать, что это место с «Гофманом» и «Шиллером» написал настоящий Мефистофель, не выдуманный, не литературный, а какому в самом деле случается бродить по свету...

Кармазинов и Степан Трофимович, в каковых преобразовал Достоевский Тургенева и Грановского, суть эти вот именно «Шиллер» и «Гофман» гоголевского творчества, конечно, без всякой мысли о подражании. Обоих, – и Гоголя, и Достоевского, – толкнул «смех до пупика», какой в них поднимался при виде «утвержденного авторитета», и особенно морального и эстетического. Таковыми в Германии особенно были Шиллер и Гофман, а в России тоже, несомненно, были именно Тургенев и Грановский.

Гоголь взял самое мечтательное, самое эфирное и посадил в «сапожника»; Достоевский благороднейшего Грановского посадил в «нахлебники» к богатой вдове да заставил еще жаловаться потихоньку, что его «хотят женить на чужих грехах»... Так же глупо, чудовищно и грязно, как история с отрезаемым по «дороговизне содержания» носом у Гоголя...

Но подобные, взятые из действительности лица всегда суть вводные персонажи в романах Достоевского, во всяком случае, не главные. Главные, начинающиеся с двоящегося образа Раскольникова – Свидригайлова и кончая Алешей – Иваном Карамазовыми, суть выразители колеблющегося и тоже раздваивающегося мирозерцания самого Достоевского... Будущий историк литературы воспользуется следующим методом для изучения этих главных лиц:

1) Проследит единство некоторых идей, я сказал бы – «навязчивых идей», почти фантомов, которые владеют этими персонажами. Явно, что это то же в своем роде, что автобиографический Нехлюдов у Толстого (в «Утре помещика», в «Юности», в «Воскресении»). Таким «Нехлюдовым» для Достоевского является длинный и разнообразный ряд лиц, – в сущности, вся главная толпа их. Например, в «Униженных и оскорбленных» есть поразительная фигура старого князя Вальковского; чуть-чуть тут взято, может быть, от одного титулованного издателя – автора небольшого литературного органа, издающегося до сих пор, с которым соизда-тельствовавал в свое время Достоевский... Но гораздо более замечательны родство и близость этого князя Вальковского с Свидригайловым. А что Свидригайлов есть «Нехлюдов» Достоевского, то это видно из того, что не Свидригайлов написал, а Достоевский написал знаменитого «Бобка», – развратные и служебные разговоры покойников на Смоленском кладбище, что буква в букву повторяет кошмар Свидригайлова о том, что, может быть, «тот свет» похож на баню с пауками... «Знаете, деревенская угарная баня... И по всем стенам пауки»... «И только»... «Я бы непременно так сделал, ибо это самое справедливое».

Душно... И вдруг это «душно» пахнуло на нас из «Бобка»...

Далее: Иван – Алеша – старец Зосима, это – опять все «Нехлюдов» Достоевского. Его идеи – в разных вариантах, оттенках... Но здесь я перехожу ко второму методическому приему, который сделает будущий историк литературы, именно: 2) Он сопоставит монологи-суждения главных персонажей в романах Достоевского с монологами самого Федора Михайловича в его «Дневнике писателя» и через это опять откроет «нехлюдовщину» в его романах...

Через два эти приема может быть совершенно выделено все мирозерцание Достоевского, начиная от юности и до его гробовой доски; выделено и, наконец, даже изложено в виде просто хрестоматии из его произведений, по годам его жизни и по времени написания отдельных романов, притом в словах столь ярких, точных и сильных, каких не заменит никакое «собственное изложение» историка литературы, биографа или критика.

* * * Историко-литературные изыскания последних лет, направленные на все поколение 40-х, 50-х, 60-х и 70-х годов, раскрыли перед нами два псевдонима в романах Достоевского... единственно тем, что произведения Достоевского не так ярко помнятся, как произведения Толстого или Тургенева, и огромная и беспорядочная толпа его персонажей далеко не так выпукла перед всеобщим воображением, как Платон Каратаев, Нехлюдов, Пьер или как Базаров, Рудин, даже Пигасов, – только этим можно объяснить, каким образом археологам нашего общества не пришло на ум сопоставить сделанные ими замечательные открытия, замечательные воспоминания с целыми полосами художественных живописаний Федора Михайловича. Мы разумею исследователей: М. О. Гершензона, А. И. Фаресова, А. С. Пругавина, П. И. Бирюкова, Н. В. Чайковского (известный народоволец). Явно, все названные писатели не принадлежат к «любителям Достоевского», иначе то, что я сейчас скажу, было бы уже давно сказано в нашей литературе.

Отрицательная, отвратительная личность Петруши Верховенского (псевдоним Нечаева) в «Бесах» уравнивается или, скорее, возмещается целую группую лиц, менее подробно описанных, но, пожалуй, освещенных еще ярче, чем он... Это – Шатов и Кириллов. Кто они? Что такое они? Их положение в обществе, их отношение к действительности те же, что и у Нечаева: положение – посторонних людей, отношение – критическое. Давнее, старое явление, хорошо нам знакомое с гимназии: кто из нас не припомнит, что в то время как масса товарищества: 1) принадлежала к определенному сословию или классу обывательства и 2) по окончании курса предназначала себя к определенной профессии, – врача, судьи, чиновника, земца, помещика и пр., и пр., и пр., – некоторые из милых товарищей нашего отрочества и юношества, собственно: 1) ни к чему себя не предназначали, как к профессии, и 2) ни к какому определенному кругу общества не принадлежали. Я называю эти «тени прошлого», может быть уже ушедшие в землю, невольно «милыми», потому что хотя тому прошло уже сорок лет, тридцать лет, но за всю жизнь, в которую мало ли народу пересмотрено, мало ли каких встреч было, на этих лицах останавливается воспоминание с наибольшим удовлетворением... дерзну сказать (хотя то были и мальчики) – с наибольшим уважением. Привлекала вот эта их «непринадлежность ни к чему», в настоящем ли, в будущем ли. От этого на них ложился свет какой-то сиротливости, главным образом духовной, хотя большею частью на них лежал и свет физической сиротливости, по отсутствию родства, по слабости родства, или далекого, или нелюбимого и, во всяком случае, не очень «слаженного». Но, главным образом, они были «духовные сироты», потому что ни к чему-то, ни к чему в действительности они не были привязаны, ни с чем не связаны... Вытекало это из избытка у них воображения и общих чувств, общих идей... Все они были монахами-мечтателями, вернее, и по возрасту, – были как бы мечтательными послушниками возле монастыря, который им был совершенно не нужен и нисколько их не тянул. Есть такие «монашки» или «монашенки» на отходе, вечно готовые «бежать», вечно уходящие, а не приходящие, однако, с каким-то общим и неопределенным позывом в себе именно к монашеству, т. е. к «бегству от мира», к одиночеству. «Монашества хочется, но невыносим ни один монастырь». Почему же «невыносим»? «Ни один устав не по мне: по мне будет только тот

устав, который я сам выдумую». Таким образом, с существом монашества в этих замечательных и памятных отроках была слита беспредельная анархичность, вытекавшая не из склонности к «дебошу», а из бесконечной индивидуальности в них, субъективности, интимности... Их царапала и «оскорбляла», в сущности, всякая действительность не оттого, что она была дурна, а оттого, что она была не воздушна и слишком тяжело ложилась на их существо, как бы сделанное все из воздуха, мечты и воображения. Все они не чесались или плохо чесались; одевались худо и презирали одеваться хорошо; учились худо или «так себе» и никогда – отлично. Не были драчуны, шалуны, хотя иногда бывали «проказники» и «на худой платформе»... но это – не главное. Главное – книги и мечта. Чтение совершенно необузданное, «без всякого разбора», но, главным образом, без всякого удержания, день и ночь, как гашиш, как опиум. Что же, однако, искалось в чтении? Опять не определенный «устав» и «монастырь», а «как бы куда уйти». «Любовь к чтению» вытекала из того одного, что книга была «не жизнь». «Чтение» было «бегством» для того, у кого не было денег и возможности «купить билет в поезд» и уехать непременно «куда-нибудь», без определения места. Как «определенное место», – так «гадость» для этих 17-18-23-летних «бегунов». Есть такая и секта у русских. А сектантство наше, собственно, разрабатывает вширь и вглубь народную психологию, общественную психологию, личную психологию, но именно – нашу. Эти одиночки-нигилисты, всегда тоскующие, всегда угрюмые, в большинстве – печальные, скучающие, ни к чему не могущие «приткнуться» и привязаться и в то же время безумно привязанные...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.